



ИРВИН ЯЛОМ

МАМОЧКА
И СМЫСЛ ЖИЗНИ

Ирвин Дэвид Ялом
Мамочка и смысл жизни.
Психотерапевтические истории
Серия «Ирвин Ялом.
Легендарные книги»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8658200
Мама и смысл жизни: Психология / Ялом И.; [пер. с англ. Елены
Климовой].: Эксмо; Москва; 2013
ISBN 978-5-699-37162-4

Аннотация

В этой книге Ирвин Ялом вновь показывает себя бесстрашным исследователем человеческой психики и талантливым рассказчиком. В шести увлекательных историях, основанных на личном профессиональном опыте, он шаг за шагом ведет своих пациентов – и себя – в сторону трансформации. «Мамочка и смысл жизни» – первый и ключевой рассказ книги, затрагивающий взаимоотношения Ирвина с матерью. Живые яркие образы героев захватывают с первых страниц. Каждый решает жизненную задачу, которая, казалось бы, не имеет решения. И в каждой истории мы видим, как

человек, раскрыв с помощью психотерапевта свои ресурсы, меняется сам, преодолевает обстоятельства и в итоге побеждает.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Содержание

Книги Ирвина Ялома	6
Благодарности	9
Мама и смысл жизни	10
Странствия с Полой	29
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Ирвин Ялом

Мамочка и смысл жизни

*Саулу Спиро, психотерапевту, поэту,
художнику*

*С благодарностью за наши сорок лет дружбы –
за сорок лет совместной жизни, книг, творческой
инициативы, стойкого скептицизма ко всему.*

Irvin D. Yalom

Momma and the Meaning of Life

Перевод и научная редакция *Елены Климовой*

Художественное оформление *Петра Петрова*

© by IrvinD. Yalom, 1992, 1996, 1999

© Климова Е.А, перевод, 2010

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

Книги Ирвина Ялома



«Когда Ницше плакал»

Незаурядный пациент... Талантливый лекарь, терзаемый мучениями... Тайный договор. Соединение этих элементов порождает незабываемую сагу будто бы имевших место взаимоотношений величайшего философа Европы (Ф. Ницше) и одного из отцов-основателей психоанализа (Й. Брейера).

«Лжец на кушетке»

Ялом показывает изнанку терапевтического процесса, позволяет читателю вкусить запретный плод и узнать, о чем же на самом деле думают психотерапевты во время сеансов. Книга Ялома – прекрасная смотровая площадка, с которой ясно видно, какие страсти владеют участниками психотерапевтического процесса.

«Мама и смысл жизни»

Беря в руки эту книгу, ты остаешься один на один с автором и становишься не читателем, а скорее слушателем. Ну и, разумеется, учеником, потому что этот рассказчик учит. И когда он говорит: «Слушайте своих пациентов. Позвольте им учить вас», на какой-то миг вы меняетесь местами: ты становишься врачом, а Ялом – твоим пациентом, который учит своего терапевта. Ты только позволь ему это делать.

«Проблема Спинозы»

Жизнеописание гения и злодея – Бенедикта Спинозы и Альфреда Розенберга, интригующий сюжет, глубокое проникновение во внутренний мир героев, искусно выписанный антураж XVII и XX веков, безупречный слог автора делают «Проблему Спинозы» прекрасным подарком и тем, кто с нетерпением ждет каждую книгу Ялома, и тем, кому впервые предстоит насладиться его творчеством.

Благодарности

Выражаю благодарность всем тем, кто прочитал, сделал замечания и полезные добавления к окончательному тексту этой рукописи: Саре Липпинкотт, Давиду Шпигелю, Давиду Ванну, Джо Анн Миллер, Мюррею Билмесу, Анн Эрвин, Бену Ялому, Бобу Бергеру, Ричарду Фумозе и моей сестре Джин Роуз. Я, как всегда, в неоплатном приятном долгу у моей жены, Мэрилин Ялом, в гораздо большей степени, чем я могу выразить. И также в неоплатном долгу перед моим редактором, Фебой Хосс, которая в этой книге, как и во многих других, принуждала меня творить на пределе моих возможностей.

Мама и смысл жизни

Сумрак. Похоже, я умираю. Зловещие силуэты обступили мою кровать: кардиомониторы, кислородные баллоны, капельницы, спирали пластиковых трубок – кишки смерти. Я закрываю глаза и скольжу вниз, в темноту.

Но тут выпрыгиваю из кровати, вылетаю из палаты прямо в ярко залитый солнцем парк аттракционов Глен Эко. Много десятилетий назад я проводил здесь почти все летние воскресенья. Слышится карусельная музыка. Я вдыхаю влажный карамельный запах липкого попкорна и яблок. И иду, никуда не сворачивая, – не задерживаюсь ни у тележки с мороженым десертом «Белый медведь», ни у двойных американских горок, ни у колеса обозрения – чтобы встать в очередь за билетами в «Пещеру ужасов». И вот билет куплен, я жду, пока следующий вагончик обогнет угол и с лязгом остановится около меня. Я залезаю в него и опускаю скобу безопасности, чтобы приковать себя к сиденью. Оглядываюсь в последний раз – и там, среди кучки зевак, – вижу ее.

Я машу руками и зову, громко, чтобы все услышали:
– Мама! Мама!

Тут вагончик трогается с места и бьется о створки дверей, которые распахиваются, открывая зияющую чернотой утробу. Я откидываюсь назад, насколько могу, и, пока меня не поглотила тьма, снова кричу:

– Мама! Я молодец, мама? Скажи, я молодец?..

Поднимаю голову с подушки, пытаюсь стряхнуть сон. Слова застряли у меня в горле: «Я молодец, мама? Скажи, я молодец?»

Но мама уже давно в могиле. Вот уже десять лет, как ее, холодную как лед, зарыли в простом сосновом гробу на кладбище «Анакостия» под Вашингтоном. Что от нее осталось? Думаю, одни кости. Конечно, бактерии отполировали их до блеска. Может быть, осталась пара жидких седых прядей, а может, еще видны блестящие полоски хряща на концах больших костей, берцовых и бедренных. И конечно, кольцо! Где-то в костяном прахе должно быть тонкое серебряное филигранное обручальное кольцо, которое папа купил на Эстер-стрит после того, как они приехали в Нью-Йорк третьим классом из еврейского местечка где-то в России, на другом конце света.

Да, мамы давно уж нет. Десять лет. Отдала концы и истлела. Ничего не осталось – только волосы, хрящи, кости, серебряное обручальное кольцо. И ее образ, наблюдающий за мной в моих воспоминаниях и снах.

Зачем же я машу ей во сне? Ведь махать ей я перестал много лет назад. Как давно? Может, десятки лет. Кажется, это было больше полувека назад, когда она повела меня, восьмилетнего, в «Лесной» – кинотеатр по соседству, за углом от папиного магазина. Хотя в зале было достаточно свободных мест, она плюхнулась рядом с одним из местных ху-

лиганов, мальчишкой на год старше меня.

– Эй, леди, тут занято, – прорычал он.

– Ну да, конечно! Занято тут, – презрительно отозвалась мать, устраиваясь поудобнее. – *Он* занял место. Подумайте, какой важный!

Она произнесла это громко, во всеуслышание.

Мне захотелось вжаться в кресло и исчезнуть в его свежесколько-красном бархате. Чуть позже, когда уже погасили свет, я набрался духу и медленно повернул голову. Вон он, пересел на несколько рядов назад, к своему дружку. Я так и знал – они смотрели на меня и тыкали пальцами в мою сторону. Один показал мне кулак и беззвучно произнес: «Погоди у меня!»

Так мама закрыла мне доступ в «Лесной». Теперь это была вражеская территория. Вход был воспрещен – по крайней мере среди бела дня. Если я хотел быть в курсе воскресных сериалов – «*Бак Роджерс*», «*Бэтмен*», «*Зеленый шершень*», «*Фантом*», – мне приходилось прокрадываться в зал уже после начала сеанса, занимать место в темноте, в самом последнем ряду, как можно ближе к выходу, и убегать, не дожидаясь конца фильма, пока не включили свет.

В нашем квартале не было задачи важнее, чем избежать чудовищной катастрофы – *быть избитым*. «Стукнули» – да запросто: заехали кулаком в челюсть, и все. «Треснули», «вломили», «напинали», «порезали» – один черт. Но если *быть избитым* – *ohmygod*. Когда это закончится? Что от те-

бя останется? Ты – навсегда вне игры с клеймом «избитый».

Но махать маме? С какой стати я машу ей теперь, когда много лет мы жили в состоянии ничем не нарушаемой неприязни? Тщеславная, подозрительная, властная, злопаятная, она лезла во все дырки, считала свое мнение единственно правильным и была чудовищно невежественна (но не глупа! – даже я это понимал). У меня с ней не связано никакого, ни одного-единственного теплого воспоминания. Никогда не было такого, чтобы я гордился ею, никогда у меня не мелькала мысль: «Как хорошо, что у меня такая мама!» У нее был ядовитый язык и всегда наготове язвительное слово в чей угодно адрес – кроме папы и сестры.

Я любил тетю Ханю, сестру отца, такую милую, с неистощимым запасом душевного тепла, ее сосиски гриль, завернутые в ломтики колбасы, ее несравненный штрудель (рецепт навсегда утерян, поскольку сын Хани отказался им поделиться – впрочем, это уже другая история). Больше всего я любил Ханю по воскресеньям. В этот день ее магазинчик-закусочная, расположенный возле вашингтонской военно-морской верфи, не работал. Ханя ставила автомат для игры в пинбол на бесплатный режим и разрешала мне играть часами. Она не возражала, когда я подсовывал сложенные бумажки под передние ножки стола, чтобы шары катились медленнее, и я набирал больше очков. Мое благоговение перед Ханей приводило маму в бешенство, она постоянно раздражалась злыми тирадами в адрес своей золовки. У ма-

мы сложился традиционный перечень Ханиных прегрешений: бедность, нежелание работать в лавке, отсутствие деловой сметки, муж-лодырь, отсутствие гордости и готовность принимать в дар поношенные вещи.

По-английски мама говорила ужасно, с чудовищным акцентом и густой примесью идиша. Она никогда не приходила ко мне в школу, ни на день открытых дверей, ни на родительские собрания. И слава богу! Меня корежило от одной мысли, что мне пришлось бы представлять ей своих друзей. Я ссорился с мамой, демонстративно не слушался ее, кричал на нее, избегал ее и, наконец, уже подростком, вообще перестал с ней разговаривать.

Величайшая загадка моего детства – как папа ее терпел? Помню моменты счастья – воскресное утро, мы с ним играем в шахматы, папа весело подпевает пластинке с русскими или еврейскими песнями, качая головой в такт музыке. Но всегда наступает момент, когда утренний воздух разлетается на куски от маминого пронзительного крика со второго этажа: «Гевалт, гевалт, хватит! Вейзмир, хватит этой музыки, хватит шума!» Отец без единого слова встает, выключает фонограф, и мы продолжаем нашу игру в тишине. Сколько раз я молился про себя: «Ну, папочка, ну, пожалуйста, заткни ее, хоть один раз!»

Так почему я машу ей? И что это мне вдруг под конец жизни вздумалось спрашивать: «Я молодец, мама?» Неужели – и эта мысль бьет меня как обухом по голове! – я всю жизнь

жил напоказ, ради одного зрителя – этой презренной женщины? всю жизнь я пытался сбежать, удрать от прошлого – от местечковости, от третьего класса, от гетто, талесов¹, пения молитв, черных костюмов, бакалейной лавки. всю жизнь я тянулся к освобождению и росту. Возможно ли, что мне не удалось убежать ни от прошлого, ни от матери?

Как я завидовал своим друзьям, у которых были матери – милые, умеющие держаться в обществе, всегда готовые помочь. И как я удивлялся, почему эти друзья не привязаны к своим матерям – не звонят, не навещают, не видят их во сне, даже не часто думают о них. А вот мне приходится силой выкидывать маму из головы много раз на дню, и даже сейчас, когда ее уже десять лет нет на свете, я машинально тянусь к телефону – позвонить ей.

Ну хорошо, умом я все это понимаю. Я даже лекции читал на эту тему. Я объясняю своим пациентам, что детям, которых в детстве обижали, часто трудно отделиться от своих дисфункциональных семей, в то время как дети хороших, любящих родителей вырастают и уходят гораздо легче. В конце концов, главная задача хорошего родителя – помочь ребенку уйти из дома, ведь верно?

Я все понимаю, но не могу смириться. Я не хочу, чтобы мама навещала меня каждый день. Для меня невыносимо,

¹ Талес (или талит) – иудейское молитвенное покрывало (обычно белое с черными или синими полосами по краям; мужчины покрывают им голову и плечи во время молитвы). – *Прим. ред.*

что она так вплелась во все волокна моего мозга, что мне уже никогда не удастся выполоть ее окончательно. А самое невыносимое – что под конец жизни я вынужден спрашивать: «Я молодец, мама?»»

Помню ее большое мягкое кресло в доме престарелых в Вашингтоне. Оно частично загромождало дверь в ее квартиру, а по бокам его, как стражи, стояли два стола, на которых лежали стопками книги – все, которые я когда-либо написал, а некоторые и не по одному экземпляру. Больше десятка книг, да еще десятка два переводов на другие языки – стопки опасно кренились. Я часто воображал себе: один подземный толчок средней силы – и маму накроет обвалом книг, написанных ее единственным сыном.

Когда бы я ни пришел, я заставал ее в этом кресле, с двумя-тремя моими книгами на коленях. Она их пробовала на вес, нюхала, гладила – но не читала. Сейчас она была почти слепая. Но и раньше, когда зрение еще не изменило ей, она бы в них ничего не поняла: ее единственным образованием были курсы натурализации, которые она должна была пройти, чтобы стать гражданкой США.

Я – писатель. А мама не может читать. И все равно, чтобы найти смысл трудов всей своей жизни, я иду к маме. Как она должна мерить мои труды? По весу, по тяжести моих книг? По картинкам, по тефлоновой гладкости суперобложек, словно жирной на ощупь? Все мои неустанные исследования, вдохновение, скрупулезный поиск нужной мысли,

ускользающий поворот красивой фразы – ничто из этого ей не знакомо.

В чем смысл жизни? Смысл *моей* жизни? В тех самых книгах, стопки которых крелятся у мамы на столе, содержатся многозначительные ответы на эти вопросы. «Нам по природе свойственно искать смысл, – писал я, – и нам приходится считаться с тем неудобным фактом, что нас забросили во вселенную, которая изначально бессмысленна». И поэтому, объяснял я дальше, чтобы избежать отрицания всего и вся, мы вынуждены брать на себя сразу две задачи. Сначала – придумать или найти дело, в котором для нас будет заключаться смысл жизни, – достаточно жизнеспособное, чтобы нам его хватило на всю жизнь. А потом мы должны умудриться заставить себя забыть о том, что мы его придумали, и внушить себе, что это дело – совсем и не наше изобретение, что оно существует независимо от нас, где-то там, а мы просто его обнаружили.

Я притворяюсь, когда говорю, что принимаю выбор каждого человека и не сужу его. Втайне я делю все жизненные пути на медные, серебряные и золотые. Некоторыми людьми всю жизнь движет стремление отомстить кому-то, восторжествовать; другие, спеленутые отчаянием, мечтают лишь о покое, одиночестве, о том, чтобы не было больно; третьи посвящают жизнь поискам успеха, процветания, власти, истины; четвертые хотят переступить через себя и раствориться в чем-нибудь или ком-нибудь: любимом человеке или боже-

ственной сущности. Есть и пятые, которые находят смысл своей жизни в служении, в самоактуализации, в творчестве.

«Чтобы не погибнуть от истины, – сказал Ницше, – у нас есть искусство». Поэтому золотым путем я считаю творчество, поэтому я превратил всю свою жизнь, весь опыт, все фантазии в преющую компостную кучу, на которой время от времени пытаюсь вырастить что-нибудь новое и прекрасное.

Но мой сон говорит о другом. Он утверждает, что на самом деле я всю жизнь преследовал совершенно другую цель – заслужить одобрение покойной мамы.

Этот сон как приговор: он слишком силен, чтобы его игнорировать, и слишком болезнен, чтобы о нем забыть. Но я знаю, что сны не такие уж неумолимые, они поддаются объяснению и изменению. Я вожусь со снами почти всю жизнь. Я умею их приручать, разбирать на части и собирать заново. Я знаю, как выжать из них секреты...

И вот я опять роняю голову на подушку и уплываю, перематывая сон обратно к вагончику «Пещеры ужасов».

Вагончик резко останавливается, меня прижимает к железной скобе. Еще миг, и он начинает двигаться назад, медленно проезжает меж хлопающих створок дверей и снова окунается в солнечный свет парка Глен Эко.

– Мама, мама! – кричу я, размахивая руками. – Я молодец?

Она меня слышит. Я вижу, как она проталкивается через толпу, распахивая людей направо и налево.

– Извин, что за вопрос, – говорит она, отцепляя скобу и вытаскивая меня из вагончика.

Я смотрю на нее. На вид ей лет пятьдесят или шестьдесят, она, крепкая, коренастая, без видимого усилия несет большую, битком набитую хозяйственную сумку с вышивкой и деревянными ручками. Мама неказиста, но не знает этого и выступает, задрвав подбородок, словно красавица. Вижу знакомые складки плоти на руке чуть выше локтя и чулки, скомканные и подвязанные чуть выше колен. Она вlepляет мне крепкий мокрый поцелуй. Я симулирую взаимность.

– Ты молодец! Большого и желать нельзя. Столько книг. Я тобой горжусь. Если б только твой папа это видел.

– Мама, откуда ты знаешь, что я молодец? Откуда тебе знать? Ты же не можешь прочесть то, что я написал... ты плохо видишь...

– Уж что я знаю, то знаю. Ты только погляди на эти книги. Она открывает свою хозяйственную сумку, достает две мои книги и нежно гладит их.

– Большие книги. Красивые.

Я смотрю, как она гладит их, и мне становится не по себе.

– Важно, что внутри. Может, там одна чепуха.

– Извин, не говори *narishkeit* – глупостей. Прекрасные книги!

– Мама, что ты их все время таскаешь с собой, даже в Глен Эко? Как будто святилище какое-то устроила. Ты же не думаешь, что...

– Про тебя все знают. Весь мир. Моя парикмахерша говорит, ее дочка проходит твои книги в школе.

– Парикмахерша? Ну, конечно, она – главная специалистка!

– Все говорят. Я всем говорю. Почему бы нет?

– Мама, тебе что, делать больше нечего? Почему бы тебе не сходить в воскресенье к друзьям? К Хане, Герти, Любе, Дороти, Сэму, к твоему брату Саймону? Что ты вообще делаешь в Глен Эко?

– Тебе что, стыдно, что я тут? Ты всегда меня стеснялся. А где мне еще быть?

– Мама, я вот что хочу сказать... мы оба взрослые люди. Мне уже за шестьдесят. Может, нам уже хватит видеть одни сны на двоих.

– Ты всегда меня стыдился.

– Я этого не говорил. Ты меня не слушаешь.

– Всегда думал, что я глупая. Всегда думал, что я ничего не понимаю.

– Я этого не говорил. Я говорил, что ты знаешь не все. Просто ты никогда... никогда...

– Что я никогда? Ну, говори. Раз уж начал. Я знаю, что ты собираешься сказать.

– А что я собираюсь сказать?

– Нет, Извин, ты уж сам скажи. Если я скажу, ты все переиначишь.

– Ты никогда меня не слушаешь. Ты вечно говоришь о

вещах, о которых ничего не знаешь.

– Я тебя не слушаю? Я тебя не слушаю?! Скажи, Извин, а ты-то меня слушаешь? Ты-то про меня что-нибудь знаешь?

– Ты права, мама. Мы оба не умеем друг друга слушать.

– Нет уж, Извин. Я-то умею слушать, еще как умею.

Я каждую ночь слушала тишину – как приходила домой с лавки, а ты из своего кабинета даже на второй этаж подняться не мог. Ни здрасти сказать. Ни спросить, может, я устала за день. Как я могла тебя слушать, если ты со мной не разговаривал?

– Мне что-то не давало. Между нами как будто стенка была.

– Стенка? Хорошенькие вещи ты говоришь матери. Стенка. Я ее строила?

– Я этого не говорил. Только сказал, что стенка была. Я знаю, что отдалился от тебя. Почему? Не помню, мама, это было пятьдесят лет назад. Но я чувствовал: все, что ты мне говорила, было с подтекстом.

– *Вос?* Текстом?

– Я имею в виду то, что ты всегда была недовольна. Мне приходилось держаться подальше, чтобы ты меня не критиковала. Я в те годы и так-то себя не очень уверенно чувствовал и уж точно не нуждался в твоей критике.

– Почему это ты себя неуверенно чувствовал? Все эти годы мы с папой работали в магазине, чтобы ты мог учиться. До полуночи работали. А сколько раз ты мне звонил и про-

сил тебе что-нибудь принести? Карандаши, бумагу... Помнишь Эла? Из винного магазина. Ему еще лицо порезали во время ограбления.

– Конечно, помню, мама. У него был шрам во весь нос.

– Ну вот, Эл подходил к телефону и всегда орал на весь магазин: «Это принц! Принц звонит! А чего бы принцу самому не сходить за карандашами? Ему не вредно размяться». Элу просто было завидно: ему-то родители ничего не давали. И я никогда и не обращала на него внимания, пусть себе. Но он был прав: я тебя воспитала как принца. Когда бы ты ни позвонил – днем или ночью, – я бросала папу одного, даже если в лавке было полно покупателей, и мчалась на соседнюю улицу, к Меншу, в магазинчик «Все за 5 и 10 центов». И марки тебе были нужны. И тетради. И чернила. А потом и шариковые ручки. У тебя вся одежда была в чернилах. Ровно принц... И никакой критики.

– Мама, мы с тобой начали разговаривать. Это уже хорошо. Давай не будем друг друга обвинять. Давай попробуем понять друг друга. Скажем так: я чувствовал, что ты меня критикуешь. Я знаю, что другим ты говорила про меня только хорошее. Хвалилась мной. Но мне ты никогда ничего такого не говорила. В лицо.

– Извин, с тобой тогда не так уж и просто было говорить. Не только мне – всем. Ты все знал. Ты все читал. Люди тебя, скорее, немножко побаивались. Может, я тоже. *Фервейс*? Кто знает? Но вот что я тебе скажу, Извин. Мне приходилось ку-

да хуже твоего. Во-первых, ты про меня тоже ничего хорошего не говорил. Я вела хозяйство. Я тебе готовила. Ты двадцать лет ел то, что я готовила. Было вкусно, я знаю. Откуда знаю? Да потому что ничего не оставалось ни на тарелках, ни в кастрюлях. Но ты ни разу не сказал, что вкусно. Ни разу в жизни. А? Хотя бы раз сказал?

Я молчу и только все ниже склоняю голову от стыда.

– И вот еще что. Я знала, что за моей спиной ты ничего хорошего про меня не говоришь. Ты знал, что я хвальнось тобой за глаза – у тебя хоть это было. А я знала, что ты меня стыдился. Все время стыдился, и при мне, и без меня. Стыдился моего английского и моего акцента. Всего, что я не знала. И всего, что я говорила неправильно. Я слыхала, как вы с дружкой надо мной смеялись – Джулия, Шелли, Джерри. Я все слыхала. А?

Я еще ниже опускаю голову.

– Ты всегда все замечала.

– Откуда мне знать то, что написано в твоих книгах? Если бы у меня были такие возможности, если бы я могла ходить в школу, чего бы я только не добилась своей головой, своим *saychel!* Но в России, в нашем местечке я не могла ходить в школу – туда пускали только мальчиков.

– Я знаю, мама. Я знаю, ты бы училась не хуже меня, если бы у тебя была возможность.

– Я приехала сюда с мамой и папой. Мне было только двадцать лет. Я шесть дней в неделю работала на швейной фаб-

рике. По двенадцать часов в день. С семи утра до семи вечера, иногда до восьми. А за два часа до того, как идти на работу, в пять утра, мне надо было провожать папу к его газетному киоску у метро и помогать ему раскладывать газеты. Братья никогда не помогали. Саймон учился на бухгалтера. Хайми водил такси – домой он не приходил и денег не присылал. А потом я вышла замуж за твоего отца и переехала в Вашингтон, и там до старости работала вместе с ним в лавке, и дом убирала, и готовила. А потом родилась Джин, с ней не было ни минуты забот. А потом родился ты. И с тобой было ох как непросто. А я ведь не переставала работать. И ты это видел! Ты знаешь! Ты слышал, как я бегаю вверх-вниз по лестнице. Скажешь, я вру?

– Мама, я знаю.

– И все эти годы я поддерживала твоих дедушку и бабушку, пока они были живы. У них ведь ничего не было – гроши от газетного киоска. Потом мы открыли для дедушки кондитерскую лавку, но он не мог работать, ведь мужчинам надо молиться. Ты помнишь дедушку?

Я киваю.

– Что-то помню...

Мне, наверное, года четыре или пять... Многоквартирный дом в Бронксе, там пахнет кислым... Я кидаю с пятого этажа хлебные крошки и шарики из фольги – курам, которые роются во дворе... Дедушка весь в черном, в высокой черной ермолке, клокастая седая борода в пятнах соуса, руки и лоб

обмотаны черными шнурами... он бормочет молитвы. Мы не можем общаться – он говорит только на идише. Но очень больно щиплет меня за щеку. Все остальные – бабушка, мама, тетя Лена – работают... Бегают весь день вверх-вниз по лестнице, в магазин, упаковывают, распаковывают, готовят, ошпывают кур, чистят рыбу, вытирают пыль. А дедушка и пальцем не шевелит. Сидит и читает. Как король.

– Каждый месяц, – продолжает мама, – я садилась на поезд, ехала в Нью-Йорк, везла им еду и деньги. А потом, когда бабушка была уже в доме престарелых, я платила за ее содержание и навещала ее там – раз в две недели, – ты должен помнить, я иногда брала тебя с собой. Кто еще из родных помогал? Да никто! Твой дядя Саймон приходил раз в несколько месяцев и приносил бутылку «Севен Ап». А в следующий раз, когда я к ней приходила, я только и слышала что про дивный «Севен Ап» Саймона. Даже когда она совсем ослепла, она лежала и не выпускала из рук пустую бутылку из-под «Севен Ап». И я не только бабушке помогала, а всей семье – моим братьям Саймону и Хайми, сестре Лене, тете Хане, твоему дяде Эйбу, которого я недавно привезла из России – всем, всей семье, вся семья кормилась с этой *shmutzig*, грязной маленькой бакалейной лавчонки. И мне никто никогда не помогал. Никогда! И никто ни разу не сказал мне спасибо.

Я делаю глубокий-глубокий вдох и произношу:

– Я скажу, мама. Спасибо.

Не очень трудно. Почему же мне для этого понадобилось

пятьдесят лет? Я держусь за ее руку – может, впервые в жизни. За мясистую часть повыше локтя. Она на ощупь мягкая и теплая – немножко похожа на мамино тесто для *kichel* перед тем, как его посадят в печь.

– Я помню, как ты рассказывала нам с Джин про «Севен Ап» Саймона. Конечно, тебе было очень обидно.

– Обидно? Не то слово! Иногда она пила этот «Севен Ап», закусывая его моим *kichel*, и не переставая говорила только про «Севен Ап». А ты ведь знаешь, сколько труда уходит на *kichel*.

– Мама, я так рад, что мы разговариваем. Первый раз в жизни. Может быть, я всегда этого хотел, и поэтому ты не уходишь у меня из головы и из снов. Может быть, теперь все будет по-другому.

– По-другому – это как?

– Ну... я смогу быть в большей степени сам собой... чтобы жить ради тех целей и дел, которые я сам себе выберу.

– Ты хочешь от меня отделаться?

– Нет... ну, не в этом смысле, в хорошем смысле. Я и для тебя хочу того же самого. Я хочу, чтобы ты могла отдохнуть.

– Отдохнуть? Ты когда-нибудь видел, чтобы я отдыхала? Твой папочка каждый день ложился поспать после обеда. Ты хоть раз видел, чтобы я спала среди дня?

– Я хочу сказать, что у тебя должна быть своя цель в жизни – а не *это*, – я тыкаю пальцем в ее хозяйственную сумку. – Не мои книги! И у меня должна быть моя собственная цель.

– Но я же только что объяснила, – отвечает она, переключая сумку в другую руку, подальше от меня. – Это не только твои книги. Это и мои книги!

Я все еще крепко держусь за ее руку, но теперь она почему-то оказывается холодной, и я разжимаю пальцы.

– Что значит «у меня должна быть своя цель в жизни»? – продолжает она. – Эти книги и есть моя цель. Я работала ради тебя – и ради них. Всю жизнь я работала на эти книги, на мои книги.

Она лезет в сумку и вытаскивает еще две книги. Я морщусь, потому что боюсь, что она сейчас поднимет их над головой и начнет демонстрировать небольшой толпе зевак, которая уже собралась вокруг нас.

– Мама, ты не понимаешь. Нам надо разделиться – мы сковываем друг друга. Это нужно, чтобы стать личностью. Об этом я и писал во всех этих книгах. И я хочу того же самого для моих собственных детей, для всех детей. Быть без оков.

– *Вос мейнен* – еаков?

– Нет, нет, «без оков» – это значит, чтобы их ничто не сковывало, чтобы они были свободны. Как же мне лучше объяснить? Скажем, так: каждый человек, по природе своей, одинок. Это тяжело, но это так на самом деле, и нам нужно научиться с этим жить. Поэтому я хочу, чтобы у меня были свои собственные мысли и свои собственные сны. А у тебя – свои. Мама, уйди из моих снов!

На ее лице застывает строгое выражение, и она делает шаг назад. Я торопливо продолжаю:

– Не потому, что я тебя не люблю, а потому, что я хочу, чтобы нам обоим было хорошо – и тебе, и мне. У тебя должны быть свои собственные сны в этой жизни. Уж это-то ты точно можешь понять.

– Игвин, ты по-прежнему думаешь, что ты все понимаешь, а я ничего не понимаю. Но я тоже смотрю в жизнь. И в смерть. Я понимаю про смерть больше твоего. Поверь мне. И про одиночество понимаю больше твоего.

– Но, мама, тебе же не приходится жить в одиночестве. Ты все время со мной. Ты не оставляешь меня. Ты бродишь в моих мыслях. В моих снах.

– Нет, сынок.

«Сынок»! Меня так не называли лет пятьдесят. Я уж и забыл, что она и папа иногда меня так звали.

– Сынок, все совсем не так, как ты думаешь, – продолжает она. – Некоторых вещей ты не понимаешь, кое-что у тебя повернуто с ног на голову. Ты знаешь тот сон, где я стою в толпе и смотрю, как ты в вагончике машешь мне, зовешь, спрашиваешь, удалась ли твоя жизнь?

– Мама, ну конечно же, я помню свой сон. С него же все и началось.

– Твой сон? Вот это я и хотела тебе сказать. Ты ошибаешься, Игвин – ты думаешь, что я была в *твоем* сне. Это был *не* твой сон, сынок. Это был *мой* сон. Матерям тоже снятся сны.

Странствия с Полой

Когда я был студентом-медиком, меня учили высокому искусству – смотреть, слушать, прикасаться. Я смотрел на алые гортани, выпирающие барабанные перепонки, змейки кровавых ручейков в сетчатке глаза. Слушал шипение сердечных шумов, бульканье труб кишечника, какофонию респираторных хрипов. Ощущал скользкие края печени и селезенки, упругость кист яичника, мраморную твердость рака простаты.

В университете меня учили *изучать пациентов*. А вот *учиться у пациентов* я стал гораздо позже, на другой стадии своего образования. Возможно, это началось с моего профессора, Джона Уайтхорна, который часто говорил: «Слушайте своих пациентов; учитесь у них. Чтобы поумнеть, нужно вечно учиться». И он имел в виду больше, чем банальную истину, что хороший слушатель узнает о пациенте гораздо больше. Он в буквальном смысле предписывал нам учиться у пациентов.

Джон Уайтхорн – чопорный, неуклюжий, вежливый, с блестящей лысиной, окаймленной коротко стриженным полумесяцем седых волос, – тридцать лет руководил факультетом психиатрии университета Джонса Хопкинса и делал это безупречно. Он носил очки в золотой оправе, и у него не было ни одной лишней черты – ни одной морщинки: ни на ли-

це, ни на коричневом костюме, в котором он ходил каждый день (мы подозревали, что у него в гардеробе два или три одинаковых костюма). Лишней мимики и жестов у него тоже не было. Когда он читал лекцию, двигались только его губы, все остальное – руки, щеки, брови – оставалось удивительно неподвижным.

На третьем году моей ординатуры в психиатрической клинике мы – я и пять моих однокурсников – каждый четверг во второй половине дня делали обход вместе с профессором Уайтхорном. А до этого мы обедали у него в кабинете, отделанном дубовыми панелями. Еда была простая и всегда одна и та же – сэндвичи с тунцом, мясной нарезкой и холодными крабовыми котлетками, за ними следовал фруктовый салат и пекановый пирог, – но подавалась она всегда с южной элегантностью: льняная скатерть, сверкающие серебряные подносы, английский тонкостенный фарфор. За обедом мы долго и неспешно беседовали. Хотя нам всем нужно было делать обходы, хотя пациенты требовали неотложного внимания, поторопить доктора Уайтхорна нам не удавалось, и в конце концов даже я, самый гиперактивный из всей группы, научился говорить времени «подожди».

В эти два часа мы могли задавать профессору любые вопросы. Помню, я спрашивал его о таких вещах, как происхождение паранойи, ответственность врача за самоубийство пациента, несоответствие между возможной излечимостью пациента в результате терапии и спущенной сверху пред-

определенностью. Профессор отвечал подробно, но не скрывал, что предпочитает другие темы: меткость персидских лучников, достоинства и недостатки греческого и испанского мраморов, грубые промахи, допущенные в битве при Геттисберге, усовершенствованная самим профессором периодическая таблица элементов (по первому образованию он был химик).

После обеда д-р Уайтхорн принимал в том же кабинете четырех или пятерых своих пациентов, а мы молча наблюдали. Невозможно было заранее предсказать, насколько затянется каждая беседа. Иные длились пятнадцать минут, другие продолжались – два-три часа. Ясней всего я помню летние месяцы, прохладный затемненный кабинет, оранжевые и зеленые полосы на парусине тента, закрывающего свирепое балтиморское солнце, опоры тента, обвитые магнолией, мохнатые цветки которой свисали прямо за окном. Из углового окна можно было разглядеть край теннисного корта для сотрудников клиники. У меня ныло под ложечкой, так мне хотелось поиграть. Я ерзал, представляя себе подачи и удары с лета, а тени на корте все росли и росли. И лишь когда сумрак проглатывал последние полосы корта, я оставлял надежду поиграть и полностью переключался на беседу д-ра Уайтхорна с пациентами.

Он не торопился. У него было много времени. Больше всего на свете его интересовали профессия и любимые занятия пациента. В один из четвергов воодушевленный вопро-

сами профессора южноамериканский плантатор целый час рассказывал о кофейных деревьях, а через неделю это мог быть профессор истории, рассказывающий о гибели Великой Армады. Можно было подумать, что для доктора Уайтхорна нет важней задачи, чем понять взаимосвязь между высотой над уровнем моря и качеством кофейных бобов, или узнать, какая политическая подоплека шестнадцатого века стояла за Великой Армадой. Он так незаметно перемещался в личную сферу рассказчика, что я всегда изумлялся, когда пациент-параноик, подозревающий все и вся, вдруг начинал откровенно говорить о себе и своем психотическом мире.

Позволяя пациентам обучать его, доктор устанавливал контакт с личностью, а не с болезнью пациента. Его стратегия неизменно подкрепляла как самооценку пациента, так и его желание открыться.

Казалось бы, лукавый собеседник. И все же никакого лукавства. Не было двуличия и лживости: доктор Уайтхорн искренне желал учиться. Он был собирателем, и таким способом за многие годы накопил поразительное богатство любопытных фактов. «Вы только выиграете, и ваши пациенты тоже, – говорил он, – если вы позволите им достаточно долго рассказывать о своих жизнях, своих интересах. Узнайте, как они живут, – и вы не только приобретете новые знания, но в конце концов узнаете все, что нужно, об их болезни».

Через пятнадцать лет, в начале семидесятых – когда доктор Уайтхорн уже умер, а я стал профессором психиатрии –

женщина по имени Пола, больная раком груди, вошла в мою жизнь, чтобы довершить мое образование.

Я убежден, что она с самого начала взяла на себя роль моей наставницы, хотя тогда я об этом не знал, а она этого никогда так и не признала.

Пола записалась на прием, узнав от социального работника онкологической клиники, что я хочу создать терапевтическую группу для неизлечимых пациентов. Когда Пола впервые вошла в мой кабинет, меня сразу поразила ее внешность: достоинство осанки, сияющая улыбка, которая заставила меня собраться, копна коротких, жизнерадостно-мальчишеских, ослепительно-белых волос, и что-то такое, что я могу назвать лишь сиянием, казалось, исходило от ее мудрых, жгуче-синих глаз.

Она приковала мое внимание первыми же словами.

– Меня зовут Пола Уэст, – сказала она. – У меня рак в терминальной стадии. Но я не раковая пациентка.

И действительно, на протяжении всего пути рядом с ней, в течение многих лет, я никогда не воспринимал ее как пациентку. Она продолжила коротко и точно описывать свою историю болезни: рак груди, обнаруженный пять лет назад; хирургическое удаление этой груди; рак другой груди, удаление и этой груди тоже. Затем химиотерапия со всем ужасным комплектом: тошнота, рвота, полная потеря волос. А потом лучевая терапия, до максимального уровня, до предела. Но ничто не могло остановить продвижение рака: в че-

реп, позвоночник, глазницы. Рак Пола требовал пищи, и хотя хирурги все время швыряли ему жертвенные подношения – груди, лимфоузлы, яичники, надпочечники, – он был ненасытен.

Воображая себе обнаженное тело Пола, я видел грудную клетку, исполосованную шрамами, без грудей, без плоти, без мускулов, словно шпангоуты выброшенного на берег галеона, а ниже, под грудью, живот с рубцами от операций, и все это покоится на толстых, бесформенных, утолщенных стероидной терапией бедрах. Короче говоря, пятидесятипятилетняя женщина без грудей, надпочечников, яичников, матки и, я уверен, без либидо.

Мне всегда нравились женщины с упругими, грациозными телами, полной грудью и явной чувственностью. Но когда я встретил Полу, случилась удивительная вещь: я счел ее прекрасной и влюбился.

Мы встречались раз в неделю на протяжении нескольких месяцев, на основании не отвечающего никаким нормам контракта. Сторонний наблюдатель мог бы назвать это психотерапией, потому что я записывал Полу к себе в журнал приема, а она садилась в кресло, предназначенное для пациентов, и проводила там ритуальные пятьдесят минут. И все же наши роли были размыты. Например, никогда не возникал вопрос об оплате. С самого начала я знал, что у нас не обычный терапевтический контракт между больным и врачом, и я никогда не спешил упоминать о деньгах в присут-

ствии Пола: это было бы вульгарно. И не только о деньгах, но и о других столь же неделикатных темах – плотской жизни, адаптации в браке, светских отношениях.

Жизнь, смерть, духовность, покой, трансцендентность – вот о чем мы говорили. Это единственное, что заботило Полу. Больше всего мы говорили о смерти. Еженедельно в моем кабинете встречались не двое, а четверо: я, Пола и две смерти – ее и моя. Она стала для меня любовницей смерти, познакомила меня с ней, научила меня думать о ней и даже помогла с ней подружиться. Я начал понимать, что смерть была оболгана прессой. Понимать, что, хоть в смерти и мало радости, она вовсе не чудовищное зло, швыряющее нас в какое-то невообразимо ужасное место. Я научился демифологизировать смерть, дабы увидеть ее в истинном свете – как событие, как часть жизни, как конец дальнейших возможностей. «Это нейтральное событие, – говорила Пола, – а мы научились окрашивать его страхом».

Каждую неделю Пола входила в мой кабинет, вспыхивала широкой улыбкой, которую я обожал, тянулась к своей большой соломенной сумке, извлекала из нее дневник, клала его на колени и делилась со мной образами, размышлениями и снами прошедшей недели. Я вслушивался и пытался реагировать адекватно. Каждый раз, когда я выражал сомнения в том, что полезен ей, Пола озадачивалась, а потом через мгновение уже улыбалась, как бы ободряя меня, и вновь возвращалась к своему дневнику.

Вместе мы заново пережили всю ее схватку с раком: первоначальный шок и неверие, телесные увечья и постепенное принятие. Со временем она привыкла говорить: «У меня рак». Она рассказывала о том, как любовно ухаживали за ней муж и близкие друзья. Это я мог понять: ведь Полу трудно было не любить. (Конечно, я открылся ей в своей любви гораздо позже, но Пола мне не поверила.)

Потом она рассказывала об ужасных днях, когда рак возвращался. «Это мой путь на Голгофу, – говорила она, – а испытания, которые переживают все пациенты с рецидивами, – это остановки на крестном пути: кабинеты лучевой терапии, где над тобой нависает всевидящее око из страшного суда, безликий торопливый персонал, смущенные друзья, равнодушные доктора и самое страшное – оглушительная тишина секретности». Она плакала, рассказывая, как позвонила своему хирургу, который на протяжении двадцати лет был ее другом, и медсестра сообщила ей, что доктор больше ее не примет, потому что ничем не может помочь. «Что такое с врачами? Почему они не могут понять, насколько важно просто быть рядом? – спрашивала Пола. – Почему не осознают, что именно в момент, когда они уже ничего не могут сделать, они и нужны больше всего?»

Я узнал от Полы, что ужас перед смертельной болезнью многократно усиливается отчужденностью других людей. Дурацкий спектакль, исполняемый теми, кто пытается замаскировать приближение смерти, усугубляет изоляцию

умирающего пациента. Но смерть нельзя спрятать, она обнаруживает себя повсюду: медсестры говорят приглушенными голосами, доктора во время обхода начинают уделять много внимания совсем другим частям тела, студенты-медики входят в палату на цыпочках, члены семьи героически улыбаются, посетители старательно изображают жизнерадостность. Одна раковая больная рассказала мне, что узнала о том, что скоро умрет, когда лечащий врач вдруг закончил ее осмотр не обычным игривым шлепком по попе, а теплым рукопожатием.

Много страшнее смерти для умирающего человека полная изоляция, которая сопровождает ее. Мы пытаемся идти по жизни парами, но умираем в одиночку – никто не может умереть вместе с нами или вместо нас. Живые избегают умирающих, отчуждаются от них, и это служит прообразом окончательной – смертельной – отчужденности и изоляции. «Есть два проявления предсмертной изоляции, – учила меня Пола. – Когда пациент отсекает себя от живущих, потому что не хочет втаскивать семью и друзей в свой собственный ужас, открывая им свои страхи или зловещие мысли. И когда друзья сторонятся умирающего, потому что чувствуют себя беспомощными, неловкими, не знают, что говорить и делать, боятся подойти слишком близко и увидеть предвестие собственной смерти».

Но изоляция Полы кончилась. Даже если я ей ничем не смогу помочь, уж верен ей я буду точно. Пусть другие ее по-

кинули – я ее не покину. Как хорошо, что она меня нашла! Разве я мог знать, что настанет время, когда Пола сочтет меня своим Петром, многожды отрекшимся от нее?

Она не могла найти подходящих слов, чтобы описать горечь от переживания изоляции и одиночества, рассказать о периоде, который она часто называла своим Гефсиманским садом. Однажды она принесла мне литографию работы своей дочери, где несколько стилизованных силуэтов побивали камнями святую – крохотную, скорченную фигурку женщины, чьи тонкие руки не могли противостоять граду камней. Эта картина до сих пор висит у меня в кабинете, и каждый раз, глядя на нее, я вспоминаю слова Пола: «Я – эта женщина, бессильная предотвратить свою смерть».

Выбраться из Гефсиманского сада Поле помог священник епископальной церкви. Знакомый с мудрым афоризмом из «Антихриста» Ницше: «Тот, кто знает, ЗАЧЕМ жить, может вынести любое КАК», священник помог ей воспринять страдание по-другому. «Твой рак – это твой крест, – сказал он ей. – Твое страдание – это служение».

Эта формулировка – «божественное озарение», как назвала ее Пола, – все изменила. Пола рассказывала и о том, как научилась принимать свое служение, и о взятой на себя задаче – облегчать страдание людей, больных раком. И я начал понимать свою роль: это не Пола – объект моей работы, а я – объект ее работы, ее служения. Я мог ей помочь, но не поддержкой, не интерпретацией и даже не заботой или вер-

ностью. Моя роль заключалась в том, чтобы позволить себя учить.

Возможно ли, что человек, чьи дни сочтены, чье тело изъедено раком, может проживать «золотые дни»? Для Пола – возможно. Именно она открыла мне, что честное принятие смерти обогащает восприятие жизни, усиливает удовлетворение от нее. Я отнесся к этому скептически. Я подозревал, что значение слов о «золотых днях» преувеличено – типичные для Пола красивые слова о духовности.

– Золотые? В самом деле?! Пола, посуди сама, что «золотого» в умирании?

– Ирв, – укорила меня Пола, – это неправильный вопрос. Попробуй понять, что «золото» – не в умирании, а в том, чтобы жить полной жизнью перед лицом смерти. Подумай, как остры и драгоценны последние впечатления: последняя весна, последний полет пушинок одуванчика, последнее облетание лепестков глицинии. И еще, – говорила Пола, – золотой период – это время великого освобождения. Это время, когда ты можешь сказать «нет» всем этим банальным обязательствам и посвятить себя тому, что тебе дороже всего, – общению с друзьями, смене времен года, игре морских волн.

Пола резко критиковала работы Элизабет Кюблер-Росс, «верховой жрицы смерти» от медицины, которая, ничего не зная о золотой стадии, выработала негативистский клинический подход к смерти. Стадии умирания в формулировке Кюблер-Росс – отрицание, гнев, попытки «заключить сделку

с судьбой», депрессия, принятие – каждый раз сердили Полу. Она настаивала, и я уверен в ее правоте, что такое жесткое разделение эмоциональных реакций на категории дегуманизирует и пациента, и врача.

Золотой период Полы был временем глубокого и напряженного изучения себя самой: ей снилось, что она бродит по огромным залам, что обнаруживает у себя в доме новые, ранее не используемые комнаты. И еще этот период был временем подготовки: ей снилось, что она убирает дом, от подвала до чердака, наводит порядок в письменных столах и шкафах. Она эффективно, заботливо подготавливала и своего мужа. Временами она чувствовала себя лучше и могла бы в это время ходить за покупками, готовить, но намеренно не делала этого, чтобы муж научился сам себя обслуживать. Однажды она рассказала мне, что очень гордится им, потому что он впервые сказал «когда я буду на пенсии» вместо «когда мы будем на пенсии». Во время таких разговоров я сидел с круглыми глазами и не верил своим ушам. Да правду ли она говорит? Может ли такая добродетель существовать вне диккенсовского мира, где живут Пеготти, крошка Доррит, Том Пинч и Боффины? В литературе по психиатрии редко обсуждается такая черта личности, как добродетель, разве что иногда ее называют защитой личности от темных низких импульсов, и сначала я сомневался в мотивах Полы и пытался незаметно нащупать бреши и вмятины в этой маске святости. Но ничего не найдя, я вынужден был заключить,

что это не маска, прекратить поиски и погрузиться в источаемую Полой благодать.

Пола была уверена, что подготовка к смерти жизненно необходима и требует целенаправленного внимания. Узнав, что рак распространился на позвоночник, Пола подготовила тринадцатилетнего сына к своей смерти, написав ему письмо. Оно тронуло меня до слез. В последнем абзаце она говорила, что у человеческого зародыша легкие не дышат, а глаза не видят. Так эмбрион готовится к существованию, которое пока не может себе вообразить. «И мы тоже, – рассуждала она, – разве не готовимся к существованию, которое по ту сторону нашего познания, по ту сторону даже наших фантазий?»

Я никогда не понимал верующих людей. Сколько я себя помню, мне казалось очевидным, что религиозные системы создаются для утешения и успокоения тревог человеческой жизни. Однажды, лет в двенадцать или тринадцать, когда я работал в продуктовой лавке своего отца, я поделился своим скептицизмом с ветераном Второй мировой войны, только что вернувшимся с европейского фронта. В ответ он протянул мне мятую, выцветшую картинку с Девой Марией и Иисусом, которую всегда носил с собой во время боевых действий в Нормандии.

– Переверни, – сказал он. – Читай вслух.

– В окопах атеистов нет, – прочитал я.

– Верно! В окопах атеистов нет, – медленно повторил он,

тыча в меня пальцем при каждом слове. – Христианский Бог, еврейский Бог, китайский Бог, какой угодно – но Бог! Клянись Богом! Без него никак.

Мятая картинка, подаренная незнакомцем, заворожила меня. Она пережила Нормандию и неизвестно сколько еще разных битв. Может быть, подумал я, это знак, может быть, божественное провидение наконец меня нашло. Два года я носил эту картинку в бумажнике, время от времени доставал и размышлял над ней. А потом как-то раз спросил себя: «Ну и что? Что с того, что в окопах атеистов нет? В любом случае это подтверждает мою скептическую позицию: *конечно*, вера возрастает, когда увеличивается страх. В том-то и дело: страх порождает веру. Нам нужен Бог, мы хотим, чтобы он был, но, как бы сильно мы ни хотели, желание не станет действительностью. Вера, сколь угодно горячая, чистая, всепоглощающая, ничего не говорит о реальности существования Бога». На следующий день, зайдя в книжный магазин, я вытащил из бумажника теперь уже не обладающую для меня силой картинку и очень осторожно – она заслуживала уважения – вложил ее в книгу под названием «*Спокойствие духа*», в надежде, что, может быть, другой метущийся разум найдет ее и извлечет из нее больше пользы.

Хотя мысль о смерти давно наполняла меня ужасом, я научился предпочитать этот первобытный ужас некоторым верованиям, чья главная убедительность крылась в их полной абсурдности. Я всегда ненавидел непоколебимую формули-

ровку «Верую, *ибо* абсурдно». Но, как терапевт, я держу подобные мысли при себе. Я знаю, что религиозная вера – мощный источник утешения, и никогда не пытаюсь разубедить людей, если не могу предложить взамен ничего лучшего.

Мой агностицизм трудно было пошатнуть. Ну, может быть, пару раз в школе во время утренней молитвы мне становилось не по себе при виде всех учителей и одноклассников, которые стояли со склоненными головами и что-то шептали, обращаясь к патриарху на небесах. «Неужели все, кроме меня, сумасшедшие?» – удивлялся я. А потом в газетах появились фотографии Франклина Делано Рузвельта, ходившего в церковь каждое воскресенье, – и это заставило меня задуматься, к верованиям Ф.Д.Р. нельзя было не относиться серьезно.

А как же убеждения Пола? Как же ее письмо к сыну, уверенность, что нас ждет цель, которую мы даже не можем предугадать? Фрейда развлекла бы метафора Пола, и с точки зрения религии я бы с ним полностью согласился. «Исполнение желаний в чистом виде, – сказал бы он. – Мы хотим *быть*, мы страшимся *небытия* и выдумываем приятные сказочки, в которых все наши желания исполняются. Ожидающая впереди неведомая цель, вечность души, рай, бессмертие, Бог, перевоплощение – все это иллюзии, призванные подсластить горечь смертности».

Пола всегда деликатно реагировала на мой скептицизм и мягко напоминала мне, что, какими бы невероятными ни ка-

зались мне ее взгляды, опровергнуть их я не могу. Несмотря на все свои сомнения, я любил метафоры Полы и слушал ее проповеди терпеливей, чем любые другие в своей жизни. Может быть, это был простой товарообмен – я отдавал уголок своего скептицизма за то, чтобы теснее прижаться к ее благодати. Временами я даже слышал из собственных уст фразочки типа «Кто знает?», «В конце концов, доказательств нет», «Разве мы когда-нибудь узнаем доподлинно?» Я завидовал ее сыну. Понимал ли он, как ему повезло? Как бы я хотел быть сыном такой матери.

Примерно в это время я пошел на похороны матери своего друга. Священник рассказал утешительную историю: «Люди собрались на берегу и печально машут, провожая уходящий корабль. Корабль уменьшается, скрывается вдаль, виднеется только верхушка мачты. Когда и она исчезает, зрители бормочут: «Он ушел». Но в это самое время где-то далеко другая группа людей пристально глядит на горизонт и, увидев верхушку мачты, восклицает: «Он пришел!»

«Дурацкая басня», – фыркнул бы я до знакомства с Поллой. Но теперь я стал снисходительней. Оглядев собравшихся на похоронах, я на мгновение ощутил единство с ними – мы были связаны иллюзией. У всех нас на душе стало светлей от мысли о корабле, который приближается к берегам новой жизни.

До встречи с Поллой я первый готов был высмеивать чокнутых калифорнийцев. Чужачества «ню-эйдж» можно пе-

речислять бесконечно: таро, «Книга перемен», массажи и йоги, реинкарнация, суфизм, контакт с духами, астрология, нумерология, иглоукалывание, сайентология, роль-финг, холотропное дыхание, терапия прошлых жизней. Люди всегда нуждались в этих умилительных верованиях, думал я раньше. Эти верования отвечают их глубинным стремлениям, и некоторые люди слишком слабы, чтобы без них обойтись. Бедные детишки, пусть утешаются своими сказочками! Но теперь я выражал свое мнение более деликатно. Теперь с моих губ сходили обтекаемые фразы: «Кто знает?», «Может быть!», «Жизнь сложна и непознаваема».

Несколько недель прошло с тех пор, как мы начали встречаться, и у нас с Полой начали рождаться конкретные планы по созданию группы для умирающих пациентов. Сейчас такие группы уже никого не удивят, о них часто рассказывают в журналах и по телевидению, но в 1973 году прецедентов не было: умирание подвергалось такой же цензуре, как порнография. Поэтому нам приходилось импровизировать на каждом шагу. Даже самое начало было огромным препятствием. Как собрать такую группу? Где искать участников? Не печатать же объявление в газете: «Разыскиваются умирающие»?!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.